

# ГЛАВА VI. Свобода печати. – Право сходок и ассоциаций: их несовместность с системой централизации

Свобода слова и печати; свобода ассоциаций и сходок: вот еще предметы, о которых любит распространяться конституционная Оппозиция, гоняясь за славой и популярностью и нанося большой вред правительству, которое не знает, что отвечать, и конституции, которая попадает в впросак, и самой стране, которая терпит злоупотребления своих поверенных, либералов Оппозиции. По истине, эти люди, как видно, очень мало размышляли о событиях последних семидесяти пяти лет нашей истории, если они решаются толковать еще о свободе, которая отрицает их политику! Или они убеждены, в самом деле, что им приходится краснобайничать перед публикой глупцов!

Как! Со времени изобретения Гуттенберга, с 1438 г. до французской Революции, печать считалась дьявольским навождением и возбуждала против себя ненависть не только со стороны Инквизиции, которая стала теперь почти безопасна, но со стороны всех правительств, всех партий, всех сект, всех буржуазов и дворян. Как! Со времени французской Революции и до настоящей минуты, печать преследовалась во Франции всеми правительствами, не взирая на принципы 89 года и на все обещания даровать ей свободу. И что же? До сих пор находятся еще люди, которые не знают и даже не догадываются, что подобное единоедушное и ожесточенное гонение на печать вызывается не личной прихотью государственных людей, а фатализмом известного порядка вещей!

Конвент обуздал (a terrorisé) прессу. Директория, в свою очередь, должна была, для своей защиты, неустанно преследовать журналистику и клубы. Консульство покончило с ними одним ударом: на всех журналистов были надеты намордники. Реставрация завела против печати целый арсенал законов. Июльская монархия разгромила ее сентябрьскими уставами, на которые стала опираться потом и февральская Республика, четыре месяца спустя после своего появления. Правительство 2-го декабря, наконец, увидело себя в безопасности только после издания указа 17-го февраля 1852 года.

Право сходов и ассоциаций имело такую же печальную участь, как и свобода печати. Вписав это право в число принципов 89 года, все полицейские власти постоянно только о том и хлопотали, чтобы ограничить его разными правилами, уставами или, наконец, даже вовсе исключить. Во всем, что касается права собираться, составлять общества и вообще всякие кружки, все равно как и выражать мысль словом или печатью, – во всем этом наше законодательство представляет, в течение семидесяти пяти лет, огромный свод самых возмутительных, насильственных мер, которыми действовали последовательно друг против друга все партии, вышедшие из Революции, все партии либеральные и консервативные, республиканские и монархические. Никогда, положительно никогда настоящая свобода не признавалась конституционной и законною: всегда она была призраком, пустой мечтой.

И что же? При таком непрерывном повторении всяких карательных, предупредительных, запретительных, короче – насильственных действий, до сих пор еще видят во всем этом одно лишь ослепление, одну лишь врожденную бессовестность того анонимного существа, которое называется «Правительством!» Во всем этом обвиняют только государей и министров, только их одних, как будто партии, кружки, директории, республики демократические и буржуазные вели себя гораздо лучше и были сноснее разных императоров и королей! Прошло слишком четыре века явной несовместности политической и религиозной власти с печатным словом; прошли семьдесят пять лет революционного противоречия, и что же? Те самые представители народа, те самые ученые, философы, законоведы, которые обязаны просвещать публику, доходя до причин зла и обнаруживая борьбу идей, повторяют, как попугаи, все общие, нелепые, избитые фразы, какие только извергались продажными журналистами, клеветникам и демагогами, бесстыжими адвокатами, пошлыми педантами и сотню раз уже ставились ни во что политическими деятелями всех партий и школ! До чего же мы дошли, в самом деле, и какую пользу извлекаем из всей нашей опытности? Говорят о падшей византийской империи, которая на французском языке называется «*bas-empire*», то есть подлая империя, и намекают на нашу: мне думается, право, что следует сказать – подлая демократия, подлая буржуазия, подлая журналистика. Кто избавит нас от подобной кучи мерзостей? Когда изгонится у нас это гнусное и бесчестное словоизвержение, эта зараза трибуны, эта язва печатного слова и свободной мысли?

И как легко, однако, понять и выставить на вид явную, осязательную истину об отношениях власти и печати!... Правда, что сама власть, которая глубоко чувствует эту истину, не осмелится сказать о том ни слова, потому что опасается, чтобы публика, поняв в чем дело, не решилась бы, наконец, поступить с правительством точно так же, как оно поступает со своим врагом, то есть с печатью. Вот почему правительство предпочитает лавировать на просторе, отделяваться загадочными объяснениями, обвинять дерзость партий и утверждать, будто оно не посягает ни на свободу, ни на знание, ни на права народа, а только преследует злоупотребление, ложь, клевету, оскорбление религии и нравов. Вот почему правительство заботливо зажимает рот писателям, которых не может подкупить, и, под видом умеренности и беспристрастия, стремится управлять идеями, запугивая умы.

Что же касается тех, ремесло которых, возведенное почти на степень конституционной привилегии, состоит в том, чтобы противоречить всему, что ни скажет правительство, позорить все, что оно ни сделает, – эти люди также не осмелятся обнаружить сущность

дела: что станется тогда с их расчётами и замыслами честолюбия? Ведь они хотят захватить, в свою очередь, правительственную власть, не изменяя, разумеется, самой системы; а пока еще не добились этой цели, они преследуют министров, побуждают их прибегать к насилию и, притворяясь либералами, гонятся за популярностью. Они взывают к священным принципам 89 года, ратуют за неотменимые права человеческой мысли, возбуждают ненависть к насилию, презрение и смех ко всякому полицейскому запрещению и приписывают грубому произволу власти, её нелепым правилам и гнусной политике тот страх, который наводит на нее общественное мнение и, вместе с тем, ту войну, которую она ведет с печатью и разными ассоциациями и собраниями мирных граждан. И все это выставляют они на вид обществу, пока не распоряжаются сами его делами; но лишь только власть достанется им в руки, они станут громко говорить о своей благонамеренности, не замедлят отыскать крамольников и заговорщиков и свалить на них всю вину свою, желая оправдать те насильственные меры, которые принимаются будто бы во имя спасения высших государственных интересов! Начиная с 89 года, на наших глазах не перестает разыгрываться эта балаганная комедия, в которой полицейский всегда побивается, а шут прославляется.

Желаешь ли, читатель, узнать, наконец, ту позорно скрытую правду об отношениях власти к печати, ту правду, которую все чувствуют в глубине своей души, а никто не решается высказать? Припомни, о чем я говорил и на что указывал, рассматривая вообще образ действий правительства, оппозиции и прессы, и ты угадаешь сам эту правду. Дело в том, что система государственной централизации, какую мы завели у себя, какую имели призвание развивать и поддерживать все наши правительства и какую утверждает теперь наша Оппозиция, существенно и радикально несовместна с теми правами, какие обещала нам Революция, т. е. несовместна ни с правом свободы, ни с правом на труд и пособие, ни с правом на образование и занятие, ни с правом сходов и ассоциаций, а тем более ни с правом выражать мнения и убеждения путем печати.

Дело в том, говорю я, что во Франции заявляется роковая несовместность системы централизации с печатным словом:

Во первых, со стороны власти, потому что наперекор принципам, дающим народу самодержавие, на самом деле царствует одно правительство, которое не только действует самовольно, но и заставляет признавать себя за настоящего самодержца. Придавая себе это верховное значение, правительство смотрит, разумеется, с негодованием на всякое обсуждение, на всякую поверку, оценку и критику своих действий; ко всему этому питает оно тем более отвращения, чем выше считает свое положение, чем более усложняет свои отношения к обществу и, наконец, чем обширнее и хищнее его власть, которая делается предметом зависти и гнева.

Во вторых, со стороны прессы, потому что при той политико-экономической системе, анархической и, вместе с тем, монопольной, какой она следует и какая служит подспорьем правительству, при такой системе, разумеется, пресса является неизбежно, за весьма редкими исключениями, недобросовестной, оскорбительной, продажной, пристрастной, падкой на клевету и тем более готовой преследовать правительство, что, даже не взирая на ложь, она находит в том прямую выгоду и приобретает расположение публики. При таком

образе действий, пресса стремится, конечно, к той же самой цели, как и Оппозиция; а цель эта, как известно, состоит в том, чтобы захватить правительственную власть в свои руки.

Итак, состояние и образ действий журналистики явно обнаруживают совершенную её несовместность и неизбежную вражду с правительством, которое, при своем несообразном значении, как будто нарочно стало приманкою для всевозможного сорта честолюбцев.

Мне следует представить в особенно ярком свете эту поистине странную сторону нашей политической системы.

Заметьте, прежде всего, что правительство, благодаря своему необузданному вмешательству в дела общества и своей возмутительной централизации, устроилось так, что возбуждает против себя самую яркую зависть и досаду. Между тем, как одни желают уничтожить его, – другие помышляют только о том, чтобы овладеть им. Повторяю еще раз и не перестану повторять: такое положение неизбежно: 1) вследствие государственной централизации, которая дает правительственной власти всеподавляющее значение; 2) вследствие того, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение о политике министров и, наконец, 3) вследствие того, что против деспотизма правительства придумана только систематическая борьба парламентских либералов с консерваторами.

Обратите, затем, свое внимание на то, что правительство стоит одно против всех и для самозащиты должно поневоле опираться на большинство, потому что без него оно бессильно. Как ни громадны наличные силы правительства, ему все-таки нельзя удержаться при напоре народной массы; но по необходимости вещей народ постоянно и все более и более негодует на правительство и стремится отделаться от него; поэтому, рано или поздно, наступает всегда желанная пора, когда народ подавляет всякое восстание и сопротивление своего правительства. Не забудьте еще, что такую неизбежную развязку готовят и ускоряют постоянные промахи, безрассудные меры и дерзкие выходки государственных людей, стоящих в главе правительства.

Сообразите теперь, что правительство не терпит никакой критики, никакого контроля над собой, не терпит тем более, чем сильнее его власть и многочисленнее его состав. Кто пользуется властью, тот стремится стать неприкосновенным. Хартия 1814 г. поставила в такое положение даже депутатов, явных противников государя.

Таким образом, на стороне главы государства стоят: государственная администрация, государственная юстиция, государственная армия, государственный флот, государственные промышленности, университеты и т. д. Весь наличный состав этих учреждений, подражая государю, придает себе значение государственной власти и не желает вовсе считать себя шайкою наемников, которых вербует промышленник за известную плату. Этот мир чиновников проникнут сознанием власти, величия и неприкосновенности. Судья несменяем и почти священ на своем судейском кресле; сыщик и жандарм могут доносить правительству что угодно: им верят на слово; за оскорбление личности чиновника наказывают иначе, чем за оскорбление чести простого гражданина.

Весь этот правительственный мир, назло нашей конституционной метафизике, представляет на самом деле настоящий организм, одушевленный одним разумом и одною волею. Трудно, почти невозможно объять взором его огромное тело и следить за всеми его движениями. Да, малейшее нападение на систему правительства, или на его представителей кажется государственным преступлением! Подумайте теперь сами, что может значить для правительства суждение частного гражданина, который решается судить о делах государства по своему здравому смыслу!... Всякая власть, будто отец посреди своего многочисленного семейства, не любит выслушивать никаких замечаний, даже благонамеренных; что же будет, если во всяком замечании она станет видеть оскорбление? Что же будет, я повторяю, если власть заранее убеждена, что все нападки на нее ведут к тому, чтобы сменить ее? При одной этой мысли, власть уже трепещет и готова подняться во всеоружии, чтобы предупредить всякую попытку нападения: чем живее станут ее преследовать противные партии, тем сильнее и отчаяннее будет защищаться армия правительства, чтобы удержать свое положение. И в этой борьбе, если только большинство, по крайней мере парламентское, примет сторону власти, то дело разрешится, смотря по обстоятельствам, или изданием Сентябрьских законов, или указом 17 февраля 1852 г. Начнется судебная расправа, и правительство избавится на время от своих непримиримых врагов осуждением их, заточением, ссылкой, штрафами и закрытием типографий. В противном случае, если власть почувствует, что общество готово от неё отложиться, то поневоле умерит свой деспотизм.

Итак, правительство не может выносить бесстрастно свободы суждений. Мало того: явная вражда его с печатью усиливается еще тем, что сама журналистика отличается бессмыслием, безнравственностью и бессовестностью; в характере её лежат шарлатанство, продажность и привычка клеветать.

Настоящая причина разврата печатного слова, разврата, который дошел в последнее время до такой степени, что от него страдает уже все общество, заключается в анархическом состоянии книгопечатания вообще. Закон вздумал возложить ответственность на типографщиков и сделал их чем-то вроде цензоров. Понятно, что они не могут заниматься разбором сочинений, которые отдаются им для набора, и потому все дело их ограничивается тем, чтобы исполнять заказы. Типографщик не знает содержания рукописей, которые у него печатаются; это совершенно в порядке вещей и согласно с истинными принципами общественной экономии и права. Кроме весьма редких случаев, когда типографщик видит, что у него хотят отпечатать возмутительную прокламацию, пасквиль или книгу неприличного содержания, – на все остальное он машет рукой и предоставляет уже самим издателям отвечать за свои произведения.

Находясь в таком состоянии, печатное слово служит выражением вопиющих гадостей. В наше время научились извлекать из печати все, что угодно, и обратили ее в помойную яму лжи, извратившей общественный разум. По всем вопросам пресса оказалась развращенною и продажною. Она возвела в ремесло свое и привычку страсть болтать обо всем и за, и против, защищать или преследовать всякое мнение, утверждать или отрицать всякое известие, восхвалять или опозоривать за деньги любую идею, любое открытие или произведение, любой товар и любое предприятие. Биржа и банк, акционерное общество и лавка, литература и промышленность, театр и искусство, церковь и образование, политика

и война, – короче, все стало для журналистики и прессы вообще предметом эксплуатации, средством агитации, сплетень и интриг. Ни судебная палата, ни парламентская трибуна не спаслись от её лжи и наветов: то она оправдывает виновного, то осуждает невинного. Важнейшие вопросы политики стали в руках её просто денежными спекуляциями: вопрос Восточный запродаан; вопрос Итальянский запродаан; вопрос Польский запродаан; вопрос Северо-Американский запродаан! Я не говорю, конечно, что в журналистике никогда не блеснет луч света; случается по временам, что она скажет правдивое слово или неумышленно, или с расчётом или, наконец, с намерением показать свое беспристрастие, чтобы вернее обмануть публику в другое время, когда представится более выгодный случай.

Какое правительство способно уважать подобную прессу? Благодаря ей, публика отравлена ложными идеями и коснеет в предрассудках; благодаря ей, все интересы страдают, спокойствие Европы поминутно возмущается, толпа людей находится в постоянной тревоге и правительство, наконец, унижается и позорится в общественном мнении даже в тех случаях, когда заслуживает снисхождение. Власть обвиняется в насилии, в жестоком обращении с печатью! Но взгляните: что случилось с печатным словом, как оно опошлось, развратилось, и вы тогда скажете, что власть обходится с ним даже милостиво. Тысяча лет тюремного заключения и сто миллионов штрафа не искупят всех преступлений печати только по 2-го декабря 1851 г.

Нет никаких средств удержать разлива печатной лжи. Все полицейские мероприятия не ведут ни к чему путному. Пресса – промышленность свободная по праву, и правительство не должно в нее мешаться. Законы, определяющие обязанности типографщика и книгопродавца, – законы совершенно исключительные, неуместные и противные праву граждан, которые должны сами управлять экономическими делами; мало того: подобные законы противоречат высшему конституционному принципу, в силу которого нация должна иметь самый неограниченный контроль над правительством. в течение всего царствования Людовика-Филиппа и во времена Республики, журналы пользовались полным правом отдавать отчет и обсуждать по-своему парламентские прения; до чего дошло тогда искусство извращения и клеветы – известно каждому, кто читал журналы и газеты. Императорское правительство захотело положить конец подобной недобросовестности; средство было найти легко: стоило только заставить молчать журналистику или обязать ее просто перепечатывать отчеты *Moniteur'a*. Но возвести в принцип такое правило было, разумеется, не совсем благоразумно. Вот почему, когда Оппозиция стала отстаивать свободу печати и защищать интересы журналистов, – правительство решилось на уступку и дозволило помещать в газетах отчеты о парламентских прениях. Но эта уступка оказалась просто хитрой сделкой, противной гражданскому праву и началам конституции, потому что журналистике все-таки не позволено составлять собственных отчетов, а только перепечатывать в сокращенном виде те, которые стенографируются во время заседания законодательного собрания и утверждаются его президентом.

Не только власть, но и сама конкуренция бессильна обуздать печать, которая решительно не может служить противоядием самой себе. По необходимости вещей, пресса, особенно же пресса периодическая стала в такое положение, что сама для себя ограничивает и уничтожает конкуренцию. Не говоря уже ни о патентах, которыми сокращается число

типографий, ни об указе 1852 года, которым допускается только небольшое количество журналов и газет, – очевидно, что вообще может существовать весьма ограниченное число повременных изданий с разным направлением, то есть журналов и газет официозных, независимых, монархических, демократических, католических, еврейских, протестантских, финансовых, торговых, судебных, наконец, – сборников, обзоров и т. п. Заметьте, при этом, что все самостоятельные периодические издания враждуют с правительством: какую же пользу принесет ему их соперничество? Или, может быть, вздумает оно завести для себя новые органы, которые служили бы его интересам, на образец заведенной уже вечерней газеты «Moniteur du soir»? При иной системе правления, когда публикация правительственных распоряжений, официальных известий, объявлений, рыночных и биржевых цен, академических и судебных отчетов и т. д. считалась бы делом общественной пользы, тогда, без сомнения, правительство имело бы полное право заводить свои издания и даже раздавать их бесплатно. Но при настоящем порядке правления, всякое издание такого рода признается посягательством государства на права свободной промышленности. Вот почему, когда г. Геру, говоря в Палате от имени всех журналистов, выразил свое неудовольствие по поводу особенной льготы, данной Moniteur'у и стал самыми жалкими доводами поддерживать самое жалкое дело, то комиссар правительства ограничил свой ответ скромным объяснением, будто издание «Moniteur du soir» служит только прибавлением к официальной газете, и в заключение сказал, что правительственная власть не перестает уважать прав меркантильного журнализма и газетного промысла.

Решится ли, наконец, правительство на всеобщее запрещение и прекращение повременных изданий? На такую меру оно не решилось даже в 1852 году; в настоящее время это кажется уже невозможностью. По словам г. Тьера сам Наполеон I как будто пришел к тому же заключению в 1815 году. Так или иначе, а достоверно только то, что отрицание свободы печатного слова – ничто иное, как отмена принципов Революции и уничтожение всех политических прав и гарантий. Нельзя не сказать, что, в этом отношении, конституционная Оппозиция сама подала пример нарушения конституции во время последних выборов. Если бы журналисты были настоящими друзьями свободы и понимали свое призвание, то позаботились бы тогда предложить свои услуги демократическим комитетам и дали бы полную возможность печатно заявиться тем мнениям, которые лишены самостоятельных органов выражения. Но взамен этого, монополисты журналистики рассудили, что, для удовлетворения собственного честолюбия, им гораздо выгоднее овладеть выборами и приобрести в свою пользу большинство голосов. Прибегнув к подобному маневру, гг. Геру, Авен, Даримон и товарищи их успели попасть в число депутатов законодательного собрания. Что ответили бы они теперь, если бы император обратился к народу с такою речью: «Франция, которую я спас в 1851 году от гражданской войны и парламентских интриг, пропадает снова, благодаря проделкам трибунных краснобаев и журналистов. Я заставляю их молчать. С этого же дня прекращаются все повременные издания и остаются только две газеты: «Moniteur du matin» и «Moniteur du soir»!

Итак, скажут мне, если журналистика представляет один из самых неизбежных механизмов нашей политической системы и если, притом, она не подлежит ни полицейским уставам, ни конкуренции, ни прекращению, то лучше всего оставить ее на собственный произвол и дать ей полную свободу. Такова любимая идея г. Жирардена, который, желая успокоить правительство, пытается уверить его, что журналистика бессильна.

Как простое орудие гласности, печать сама по себе служит безразлично, как истине, так и лжи, как свободе, так и деспотизму. Она получает значение и цену только в том случае, когда становится проводником идей и интересов известных партий. Теперь спрашивается: можно ли сказать, что партии, вооруженные печатью, правом сходов и т. п., бессильны против правительства? Разумеется, нет, потому что вся парламентская система только и поддерживается действительной силой партий. Припомните же теперь, как пользовались они печатью с 89 года.

Старая монархия, которая созвала государственные сословия и произвела Революцию, получившую другое значение при учредительном собрании, просуществовала всего три с половиною года.

Первая республика поддержала своими конституциями II и III годов все вольности и права, данные покойною монархией. Что могла эта республика сделать больше? Она продержалась семь лет озарившись страшным светом в чаду заговоров. Завелась она после государственного переворота, жила она государственными переворотами и погибла от государственного переворота.

Вторая республика также даровала нам своей конституцией 1848 года все права и вольности. Она длилась три года и, подобно первой, жила государственными переворотами, реакциями, и кончилась государственным переворотом.

Правительства, державшие печать в страхе и загоне – первая империя, реставрация, июльская монархия – просуществовали дольше других; это обстоятельство доказывает только то, что журналистика, эта развратница, в действительности такое подлое создание, которое изгибается и ползает под ударами. Говоря о деспотизме прошлого времени, я вовсе не намерен, конечно, ставить его образцом для подражания; дело в том, что, в конце концов, мы всегда расправлялись с каждым правительством, как следует, и самое долгое царствование не тянулось более восемнадцати лет; что значит такая продолжительность в судьбе государства! Итак, я желаю указать только на тот постоянный факт, что несовместность печати с правительством заявляется всегда и непременно, все равно – дают ли ей свободу или держат на привязи: в первом случае она душит правительство, а в последнем – отравляет его существование.

Можете ли вообразить, что, по стечению особенно счастливых обстоятельств, нынешняя Оппозиция, достигнув власти, найдет секрет, неизвестный Наполеону III и его предшественникам, поладить с печатью и ужиться с её свободой? Будьте уверены, что даже и в этом случае согласие их не продлится более двух недель. Нам уже давно знаком тот либерализм, которым щеголяют еще наши мнимые демократы; мы видели уже, как взялись они за дело на последних выборах. Один из этих господ, менее других виновный, г. Мари доказал в своем процессе, где он ратовал за шведскую королеву против «Записок» Мармона, что способен, при удобном случае, сделаться отличным цензором. Впрочем, даже не обращая внимания на личный состав и характер представителей Оппозиции, кто может без содрогания и гнева даже подумать о том, что они станут нашими повелителями?



Как! Отдать наши финансы г. Гарнье-Пажесу, народное просвещение – г. Карно, юстицию – г. Мари, внутренние дела – г. Жюлю Фавру!! Будь мы даже просто пешками, куклами, – и то, при виде этих присяжных господ, не стали бы молчать; не будь в нашей руке пера, за нас возопили бы камни. О, простачи! Вот уже в течение трех четвертей века водят вас за нос и забавляют политическими комедиями. Поймите же, наконец раз и навсегда, ту истину, что нельзя вам добиться ни свободы, ни порядка, а тем более спокойствия, пока господствует у вас подлое адвокатство, которое прикрывает чудовищную централизацию с подкладкой экономической анархии и денежного феодализма, управляющего даже государственную власть. Один только факт систематической нераздельности самодержавия, в соединении с экономической анархией, служит уже верным ручательством за неизбежность и постоянство вашей междоусобной вражды и нищенского состояния.

Пусть правительство и буржуазия раскроют глаза и увидят, в каком жалком положении они находятся. Политический разврат заявляется умышленным клятвopреступлением и к этой безнравственности присоединяется несовместность государственной централизации со всякой свободой, невозможность нормального бюджета, отчаянный упадок общественного благосостояния и народного развития. При таком положении дел, все становится враждебно правительству, все подрывает его, все в заговоре против него: ученые и литературные собрания, академические заседания, публичные чтения, духовные проповеди, всякие речи, театральные представления, благотворительные общества... Всему этому правительство должно мешать или, поминутно всем этим отравляясь, должно издыхать.

Собрания и ассоциации. Говорить теперь о политических собраниях и ассоциациях совершенно напрасно. Можно ли даже воображать, в самом деле, что централизованное правительство допустит образование враждебных себе кружков! Если уже нетерпима свобода городская, муниципальная, то может ли быть терпима свобода клубов! В 1848 году, закон о сходках и ассоциациях казался не совсем ясным, и тогда еще нельзя было доверять ему, не взирая на все доводы оппозиции, которая опиралась и на право естественное, и на право писанное. Дело в том, что и тогда несовместность свободы с полицейским порядком была вопиющая: это обнаружилось 21 февраля, в тот самый день, когда одна лишь попытка устроит сходку решила участь правительства. Разве не сходка в улице Поатье убила республику?! Разве не клуб якобинцев овладел конвентом в 1793 году? И разве потом, после смерти Робеспьера, не пришлось закрыть его?!

Какая жалость видеть старых депутатов, кандидатов в законодательное собрание, которые принимали в 1848 году такое живое участие в составлении указов 27 и 28 июля, уничтожавших свободу печати и право сходок; какая жалость видеть, как эти господа берут на себя роль наставников народа, объясняют по своему указ 2 февраля 1852 г., устраивают, по этому поводу, обширный избирательный заговор по всей империи и, в заключение всего, когда правительство требует от них отчета в поступках, когда оно указывает им на букву закона, на статью 291 свода уголовных постановлений, на закон 10 апреля 1834 г. и на указ 28 июля 1848 г., когда оно публикует всю их любопытную переписку, – что они делают? Вместо того, чтобы искренно сознаться в нарушении законов и объявить прямо, что законная обязанность их была несовместна с настоящим правом и потому им пришлось пожертвовать ею во имя истины, – вместо всего этого, они говорят о своей благонамеренности и пускаются на самую пошлую софистику. Да, вряд ли современная

Демократия видала что-нибудь жалостнее и унизительнее оправдания «тринадцати» перед судом исправительной полиции. Этот процесс доказал, как лицемерна и вероломна Оппозиция, которая, желая поддержать свою гнусную систему единства на счет собственного достоинства, обманывает народ и притворяется жертвой полицейского насилия, будто наше законодательство и вся наша история не выражают той истины, что государственная централизация несовместна с правом сходов и не может терпеть его!

Свобода собраний и ассоциаций при такой политической системе, как наша, где по необходимости вещей кипит злоба и ненависть против правительства, где разгарается столько честолюбия, где действует и борется столько партий и кружков – да мыслимо ли это?! Взгляните же, наконец, что происходит ежедневно даже в самых невинных сборищах, дозволенных правительством. И там во всем стараются сделать намек на произвол власти, во всем хотят ополчить ее и возбудить к ней презрение; чем злее, острее и ядовитее насмешки над нею и чем больше она бесится, тем беспощаднее обвиняют ее в деспотизме. Правительство находится в таком положении, что не может надеяться на правый суд: все его оправдания признаются лживыми, никто его не уважает и не слушает; словам его нет веры, делам его нет извинения; с ним поступают так же безжалостно, как с писателем, который замарал и потерял свою репутацию. Что же остается делать правительству в таких отчаянных обстоятельствах? Лучше всего – пусть оно завязывает решительный бой с обществом, с которым не может ужиться, и, напрягая все свои силы, умирает, по крайней мере, смертью настоящего бойца.

Приводят нам в пример Англию, мало того – Бельгию; говорить о Соединенных Штатах, впрочем, не решаются. «Сумели же, право, англичане согласить свою свободу с правительством: отчего не сделать того же и нам»? Так рассуждают наши умники.

Кто спорит! Разумеется, мы не хуже англичан способны пользоваться выгодами свободы и правительства. Но дело в том, что мы должны для этого изменить систему централизации и экономический порядок; без этого условия – нет нам спасения.

Англия совсем не так сильно централизована, как Франция.

Общественная экономия Англии отличается от нашей. Если её торговля и промышленность так же несолидарны, как и наши, за то поземельная собственность учреждена на совершенно иных началах: в Англии существует вассальная система, а у нас право злоупотребления, *jus utendi et abutendi*.

В Англии не водится трех династических партий и одной республиканской, которые бы враждовали между собою: там все признают царствующий Ганноверский дом и королеву Викторию.

Английское общество вовсе не демократическое: оно держится феодальных обычаев и состоит из аристократов-землевладельцев и аристократов-капиталистов.

Англия верна, наконец, своей государственной религии и терпит католическую веру только потому, что не считает ее опасной.

Итак, пока власть будет уравновешена в Англии подобным образом; пока ни монархия, ни аристократия, ни буржуазия, ни церковь не будут запуганы, до тех пор ограниченную свободу англичан не станет нарушать их правительство. Но с того же самого дня, когда народная масса станет пользоваться всеми политическими правами и объявит войну аристократии поземельной и промышленной; когда подкопаются под королевский трон и будут поговаривать о низвержении династии; когда англиканское духовенство испугается развития папизма и когда, наконец, революционный дух нагонит страх и вызовет реакцию и централизацию, – тогда можно надеяться, что английское правительство не задумается употребить в дело арсенал старых законов, которые оставляет в бездействии до более удобной поры. С того же самого дня, когда начнется для Англии новый порядок, обнаружится во всем своем блеске роковая несовместность свободы с правительством.

Бельгия находится в подобном же состоянии. Правда, что время от времени в ней замечается странное расположение правительства к свободе... Многое мог бы я рассказать про эту интересную страну: к сожалению, в ней приходится разочароваться поневоле, когда вспомнить, что мы наградили ее пошлым унитарным либерализмом. И так, на поверку оказывается, что в настоящее время, во всей Европе, одна лишь Италия представляет нам пример государства, в котором свобода еще кое-как ладит с правительством: это происходит оттого, что их волнует одинаково одна и та же мысль, перед которою уничтожается всякий другой интерес и исчезает всякое затруднение; эта мысль – образование и утверждение итальянского единства. Впрочем, и это еще вопрос!

Моя задача была бы не решена и доказательства мои не были бы доведены до конца, если бы я не досказал в нескольких строках – чего именно требует свобода для своего неперемennого утверждения в государстве.

Предположим, что славная единая Франция разделится на тридцать шесть самостоятельных областей, каждая среднею величиною в шесть тысяч квадратных километров и с миллионом жителей. Предположим затем, что в каждой из этих тридцати шести областей власть будет ограничена, как следует, бюджет до настоящей нормы, один и тот же принцип станет управлять, в одно и то же время, делами политическими и экономическими, и все общество организуется по закону взаимности, в согласии с правительством, которое устроится на началах федерации. Предположим, наконец, что в главе подобной конфедерации учредится верховный совет почти без всяких административных и судебных прав, с ничтожным бюджетом и с одною только обязанностью защищать одновременно, как граждан каждой области против насилия местных властей, так и местные правительства против наглости партий. И вот немедленно все изменяется, все принимает совершенно иной вид. Прежде всего, централизация, корень раздора, и власть её, и богатство, и слава перестают возбуждать честолюбие граждан. При всем своем могуществе для покровительства и защиты, центральная власть, орган конфедерации, является неспособной насилловать и поработать: у нея нет своей силы. И что могут сделать против неё партии? За что станут они враждовать с нею? И для какой выгоды? Итак, в этом случае, нападение на власть неуместно, безцельно; сама свобода вовсе не нуждается в восстании за свои права; сама пресса, утрачивая свое безобразное развитие, которое дала ей централизация, обуздывается учреждениями на правилах взаимности и потому становится нравственною; сама публика, наконец, перестает, в свою

очередь, быть в невольном заговоре против порядка и не подчиняется более влиянию столичных газет. В таком виде, все области находятся между собою в договоре взаимного обеспечения и потому избавляются от всякой опасности пострадать от заговора. И кто станет, в самом деле, помышлять о заговоре? Соединяйтесь в кружки, составляйте ассоциации, являйтесь на сходки, говорите, пишите что угодно: власть не мешает ничему, потому что ничего не боится. Повсюду господствует порядок; правительство, составленное из примерных граждан, находясь в руках и на глазах народа, смотрит само без страха на самые дикие выходки критики и без гнева выслушивает все, что говорят, и позволяет печатать все, что хотят.

От дальнейших рассуждений я воздерживаюсь.

---

Версия #1

Зверобой создал 23 марта 2025 04:44:30

Зверобой обновил 23 марта 2025 04:45:21